



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Достоевский Федор Михайлович

<Фрагменты>

Достоевский, Федор Михайлович (11/XI 1821–9/II 1881), один из величайших русских и мировых писателей. <...> Опубликование «Бедных людей» в альманахе Некрасова «Петербургский сборник» (январь 1840) и лестный отзыв Белинского о повести (в «Отечественных записках») принесли Достоевскому славу «второго Гоголя» и близость к кружку Белинского. Впрочем, это сближение длилось очень недолго и закончилось в конце того же года резким разрывом, вызванным отчасти нервностью и болезненным самолюбием Достоевского, смотревшего на себя как на учителя жизни, призванного сказать новое слово, а главн. обр. несходством интересов и воззрений членов кружка и социальной среды, их взрастившей. Даже с «плебеем» Белинским Д. не мог установить общего языка, и впоследствии резко колебался в его оценках. <...>

Годы омской каторги и семипалатинской подневольной службы наложили неизгладимую печать на психику Д., окончательно закрепили его нервную болезнь (эпилепсию), обострили ряд отрицательных черт его характера и в сильнейшей мере способствовали развитию его реакционных тенденций. Теперь это был крайне издерганный, терзаемый глубокими противоречиями, больной писатель-мыслитель, ставший вождем и рупором темных и страждущих людей. Вся дальнейшая жизнь Достоевского была полна постоянной борьбой с нуждой, с долгами, с обураваяющими его сомнениями, с бурными, столь ему свойственными страстями. <...>

Последний год жизни Д. отмечен его участием в торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве (лето 1880), где Д. произнес знаменитую речь о своем любимом поэте, служившую замаскированным откликом Д. на вопросы о русской революции и исторической роли и судьбах интеллигенции. Эта речь создала Д. небывалую попу-

лярность, но встретила, несмотря на известную симпатию Д. к жертвенности революционной молодежи, резкий отпор со стороны ее руководящего легального органа «Отечественные записки» (см., напр., статьи Глеба Успенского). <...>

Произведения Д. играют исключительную роль в русской литературе и обеспечивают за ним одно из первых мест среди величайших ее писателей. Произведения эти приобрели (в особенности за последнее время) огромное, едва ли не мировое значение. Понимание основных черт Д. как писателя, мыслителя и общественника возможно только в связи со всей историей нашей общественности, в частности с тем ее моментом, в котором непосредственно принимал участие Достоевский.

Основными социальными стихиями, отразившимися в творчестве Достоевского, можно считать три. Во-первых, современный ему распад общественных устоев, а вместе с тем и общественного сознания, морали, бытовых форм, к-рый принес с собой более или менее бурно наступающий капитализм. В особенности тогдашний Петербург представлял собой уже в высшей степени европеизированный город со всей той жаждой наживы и карьеры, со всей той сумятицей разнообразных оторванных друг от друга индивидуальностей, со всем тем неудержимым перекрещиванием старых и новых воззрений, подобные к-рым описывал Бальзак, отражавший жизнь Парижа 30–40-х годов. Этот хаос периода интенсивного первоначального накопления для мелкой буржуазии повергивался особенно мучительной стороной, отбрасывая старые сдерживающие традиции и разжигая волю к богатству, к власти, к наслаждению. Эпоха вместо с тем тяжело была по огромному большинству представителей этой группы, низвергая их в ряды неудачников и эксплуатируемых. Непомерные болезненные мечты, новые страдания от постоянных обид, чувство неопределенности своего положения — все это создавало для этой общественной прослойки особую подорванную истерическую психику. Никаких твердых представлений о добре и зле, о дозволенном и недозволенном уже не оставалось. Личность, недавно вышедшая из патриархального церковного старозаветного круга, попадая в бушующее море капиталистической конкуренции, часто с отчаянным стремилась схватиться за обрывки старых устоев, убедить себя в какой-то их прочности, вернуться назад к более спокойному берегу и с ужасом смотрела на ожидавшую ее пропасть беспринципности, все позволяющей, соблазнительной, толкающей на преступление. Ужас был тем большим, чем более сильным оказывался соблазн. — Можно отметить много черт разительного сходства между идейным миром и действиями тогдашней русской мелкой буржуазии, в особенности ее интеллигентной, сознательной части, с тем, что изображают великие писатели Запада, имевшие перед собой аналогичные общественные

явления и работавшие над тем же социальным материалом (особенно Бальзак, Золя).

Второй стихией, наложившей свою печать на социально творческую личность Д., была жажда спасения от этого хаоса путем упорядочения общественности. Для многих людей, наиболее крепких по своему уму, по широте умственного и эмоционального охвата окружающих явлений, переход к социализму, который уже зажигал яркие маяки своей тогда еще утопической мысли на Западе, казался наиболее серьезным выходом. <...> Такими были Чернышевский, Добролюбов и нек-рые другие. У остальных социалистические идеи легко переплетались с откликами проповедей христианской любви со всеми мистическими догмами и самой расплывчатой фантастикой. В кружке Петрашевского мы видим разнообразные типы, которые, однако, целиком умещаются в рамках весьма туманного утопического социализма. Самодержавие тем не менее относилось к такого рода мыслям, в особенности когда носители их переходили к пропаганде, с безграничной свирепостью. Д. стал адептом этого социализма и пострадал за него. Утопический социализм, который писатель вынес из кружка Петрашевского, никогда не оставлял Д., всегда продолжал своеобразно жить в нем. Постоянно возвращался этот идеал как надежда или тяжелая укоризна, требуя своей замены каким-нибудь другим учением, к-рое хоть несколько осветило бы безнадежный ад жизни. Третьей стихией, отразившейся на личной судьбе Д. и на его творчестве, было само самодержавие, как организация господствующих классов, включая сюда и его опору — официальное православие. Эта сила ударила по Достоевскому и не только заставила пережить его один из ужаснейших моментов, какой вообще можно себе представить в судьбе человека, но и пройти сквозь унижения, грозившие уничтожить его жизнь и преждевременно похоронить те творческие силы, которые он чувствовал в себе и спасти которые казалось ему его миссией. Неспособный бороться с самодержавием, которое, как ему казалось, безмерно превосходило его собственные силы, преследуемый им, как пушкинский Евгений Медным всадником, Д. произвел полуискусственно, полуискренно пересмотр своего мирозерцания. Он сохранил многое от своего осуждения бесправия и насилия в обществе, от своей жажды гармонии. Но все это постепенно было сконструировано в теорию, систему, которая должна была импонировать и ему самому и всем окружающим своей благостью, святостью, своей прозорливостью и в то же время не приводить его к какому-либо конфликту с самим центральным и господствующим злом, т.е. диктатурой правящих классов и их государственным строем. <...>

Ужас жизни признавался Д. в течение всей его литературной деятельности. Метафизический вопрос о происхождении зла, вопрос о том,

какими судьбами из всей благодной воли божьей, которую Д. старался принять и понять, возникает море зла, окружавшее писателя, ставился им часто с предельной силой. Д. нельзя было уговорить простоватым ответом, что в этом виновата человеческая злая воля. В знаменитой тираде Ивана Карамазова Д. с глубокой болью бросает этой православной версии в лицо «страдание деточек». Однако он никогда не мог свести концы с концами, неся в себе, с одной стороны, боль за безобразие социального бытия, а с другой — жажду религиозной веры в провидение. Жалкие попытки избежать конфликта этих начал путем указания на безгрешного и терпеливого, за нас страдавшего, полного любви Христа не могли ни на минуту убедить хоть сколько-нибудь критический ум. Метафизический вопрос глубочайшим образом волновал Достоевского, и какого-либо логического, хотя бы и сильно пропитанного эмоцией решения он не находил. Во всяком случае, Д. сторонился простой мысли о том, что главнейшую ответственность за господствующее зло несет господствующий класс и его правительство. — Совсем уже нельзя было ожидать, чтобы Д. материалистически подошел к этому вопросу и увидел подлинный корень его в самом развитии общества, а исцеление от него в росте производительных сил человечества и революционном перевороте, который несет с собой пролетариат. Д. искал другого объяснения, которое тоже казалось ему глубоким, но к-рое на самом деле ничего не говорит, а именно признания за каждым его собственной вины за общий «беспорядок», признания всех виновниками несчастья человеческого существования. Прямые, практические пути для разрешения социально-философского вопроса оказывались заказанными для Д. частью мещанско-интеллигентской неспособностью к подлинно научным обобщениям, частью внутренне наложенных на себя табу не замечать непрерывного преступления, каким являлось самодержавие. <...>

Лучшая часть современной Д. мелкобуржуазной интеллигенции, не доходя до ясного предчувствия роли капитализма и рождающегося вместе с ним пролетариата, все же на основании русского опыта (судеб и нужд крестьянства) и опыта европейского (серия революций с конца 18 столетия — до времени Д.) создала уже для себя (особенно в лице Белинского последней формации, Чернышевского, Добролюбова) яркую концепцию, яркую позицию, к-рые служили великим предисловием к переживаемым нами ныне событиям, к мирозерцанию революционного пролетариата. Д., однако, после столь тяжко кончившейся попытки примкнуть к петрашевцам осознал это революционное решение жизненной проблемы как главный соблазн, как основного врага и поэтому поставил перед собой реакционнейшую и низменную задачу всемерного разоблачения революции и носителей ее идеалов. <...> Сам истерзанный, полураздавленный мещанин-разночинец,

он, казалось, всем течением своей судьбы и своего времени предназначался в революционные глашатаи «униженных и оскорбленных» против угнетателей и оскорбителей. Однако эта миссия его оказалась разбившейся о непреклонную стену слишком прочного еще крепостнического порядка. Осколки остались. Эти осколки застряли в сознании, в природе Д. и мучили его. С тем большей беспощадностью стремился Д. вновь и вновь к моральному истреблению революции. Это должно было сделать и отчасти, но только отчасти, сделало из Д. писателя явно реакционного. <...> Именно свои низменные животные влечения извлекал со дна своей богатой личности Д., именно свое исконно мещанское вытаскивал он на свет для того, чтобы этой грязью рисовать фигуры революционеров.

Основным двигателем революции, по Д., является Смердяков — худшее воплощение карамазовщины, худший носитель сладострастно жадного отношения к жизни. <...> В романе «Бесы» ненавистническая война против революции приняла формы сплошного — гениального, конечно, — но от начала до конца карикатурного, искаженного злобой изображения революционного мира.

Почему, однако, Д. нельзя признать просто реакционным писателем, даже на основании его наиболее реакционных романов и глав? Дело в том, что ненависть Д. проистекает от внутреннего сознания силы своего противника. <...> Д. — великий мещанин, могший стать революционером, но сброшенный волею судьбы с этого пути, искалеченный в результате этой бесконечной титанической борьбы с самим собой, с лучшей частью самого себя, притом борьбы без победы. Огромный, истинный талант сказался в том, что Д. был вновь и вновь вынужден давать волю своему «сатане», своему «Прометею», которого он сам приковал к скале в Тартаре, и при этом «врагу» иногда вкладывались в уста такие блестящие аргументы, что все оружие, которое потом применял победоносный Д., «официальный» Д., — носитель христианской правды, оказывалось слабым. В этом несомненная невольная объективная революционность Д.

Одним из главных орудий, которым Д. пользовался в этой борьбе, была христианская идеология. В смрадном мире официальной действительности он пытался найти светлую сторону. Он стал исступленно молиться перед закоптелой иконой, которая должна была явиться святыней для всего угрюмого старого каземата Руси. Он старался вслушиваться, вдумываться в отдаленные голоса тех демократических слоев, в среде которых некогда создавалось христианство. Жалкие, извращенные, использованные для самых гнусных целей голоса эти все же твердили что-то о всепрощении, о любви, о вере в грядущее царство небесное, где все противоречия будут разрешены и все муки исцелены.

Все это по тому времени для образованного человека весьма наивное построение расшатывалось одним ударом мощной руки Д.-революционера. Иван Карамазов своим заявлением о «возвращении билета богу», в случае если его, Карамазова, после этого необъятного моря слез и горя захотят подкупить пропуском в увеселительные сады господни, — как нельзя лучше с этической эмоциональной стороны низвергает этот истерический мессианизм, всегда бывший лишь попыткой противопоставить хоть какую-нибудь надежду подлинной безнадежности бытия бессильных классов. Но Д. лихорадочно искал союзников в монашеских ликах, в Зосимах, воителях церкви, жаждущих ее победы над светским государством мистическими методами и упрямо твердящих «и буди, и буди», в благостных ангелоподобных Алешах. Однако вся эта мистическая бутафория не удовлетворяла его самого. И каждый раз, когда среди гладких речей православных мудрецов прорывается красное пламя речей революционно-бунтарских, становится очевидным, как легко этому пламени пожрать религиозные картонные домики. <...>

Колоссальное напряжение творческой воли Д. в его стремлении преодолеть мир и его противоречия не помогли найти выход. Социальная функция Д. — искать разрешения противоречий, отвергая единственный истинный путь, путь революции, — представляла сама собой громадные опасности для своего носителя. <...>

Достоевский умел для своих идей выбирать таких носителей, чтобы столкновение идей превращалось в жизненное столкновение волей, и при этом всегда беспощадно звучат все те же лейтмотивы: страсть к жизни, пресеченная или искаженная, забитая или извращенная, и постоянная мысль об искуплении, сопровождаемая борьбой против единственной подлинной искупительной идеи — против революции, против материалистического социализма. <...>

В своей личности и в своих произведениях он явился лишь отражением колоссальной трагедии, которую претерпевали широкие слои мещанства, т. е. мелкой городской буржуазии и, в частности, разночинной интеллигенции. Именно потому, что Д. явился классическим выразителем смятенной драмы, Европа — в тех странах и в тех слоях, которые переживают нечто подобное (напр., послевоенная Германия) — испытывает на себе невыразимо притягательную силу этого гениального певца и мученика общественного разложения. Д. умер, окруженный славой и каким-то смутным недоумением, ибо никто точно не знал, кем же он в сущности был? Спор об этом ведется и по сию пору. Известных элементов революционности, как видно из всего предыдущего, в Д. отрицать нельзя. Но в течение почти всей своей жизни (после «казни») Д. считал эти элементы чуждыми себе, делал все от него зависящее, чтобы их покорить, их уничтожить. И можно сказать, не его вина

и уж конечно не его заслуга, если эти революционные стороны объективного бытия заставляли дрожать отзывно нек-рые революционные струны нашего сознания и оказывались настолько сильными, что и мы не можем не признать их значительности. Однако их нужно раскапывать, отделяя от нагромождений, от бесчисленных наслоений публициста Д., — к-рый целиком служил контрреволюции. <...>

Как художник Д. велик своим динамизмом, богатством переживаний, покоряющей искренностью своей страстной борьбы с собой и со всем миром. Но вряд ли и его манера, и его приемы могут найти какое-нибудь живое отражение в пролетарской художественной литературе, которой принадлежит ближайшее будущее. Д. был большим талантом, он отражал кризис, переживаемый целым классом, тяжелую для этого класса эпоху. Динамизм пролетариата, утверждения и отрицание его борьбы — полярно далеки от переживаний Д. Если у других можно учиться только с величайшей оглядкой, с постоянной критикой, дабы вместе с нек-рыми великолепными художественными приемами, которым надо учиться, не усвоить и зачатки классово-чуждых элементов, то о Д. это надо сказать сугубо. Критически пройти через Д. необходимо. Это хорошая самозакалка. Но сквозь это огненное марево, над этими черными пучинами, под этими нависшими тучами, через вереницы этих насаженных злобой и страданием лиц, через напряженный шум этих споров и проклятий можно пройти только в броне законченного классового самосознания. Такой читатель выйдет из чтения Д. умудренным полным знанием жизни, в особенности в отношении тех элементов, с которыми пролетариату приходится иметь дело, ибо ему надо бороться и против них и из-за них. Непосредственное же влияние Д., т.е. подчинение ему в чем-либо, есть вообще вещь для пролетария не только вредная, но и позорная и вряд ли вообще возможная. Наличие такого влияния может служить доказательством присутствия значительных элементов мещанского индивидуализма в человеке, который ему подвергается, будь то писатель или просто читатель.

